

СКОРЬБЬ

Об Анне Давыдовне Красноперко

1.

Боль от того, что ее нет в живых, не оставляет меня ни на день. Ко знобкому декабрьскому вечеру, в который начинаю эти странцы, восьмой месяц живу с камнем на сердце. Восьмой месяц от черного майского утра, когда истребованной мною и сыном врач "скорой помощи" (бригада все-таки приехала, хоть от привнимавшей вызов диспетчерши я услышала недовольно: "Ну зачем нам ехать, были у вас уже ночью, ничем помочь ведь не сможем!"), присев воле умиравшей, произнес содрогнувшее меня: "Все". И однако же бывают моменты, в которые боль особенно остро.

Через десять недель после того чернопамятного мне утра траурно-торжественно открывался в Минске мемориал на печально известной в городе "Йме" месте захоронения пяти тысяч геттовских мучеников, ставших жертвами погромных зверств 2 марта 1942 года. Обелиск, поставленный здесь еврейской общиной по окончании войны, дополнился выразительной скульптурной композицией. Так вошедший в собравшееся многолюдье, я почувствовал, что не справлюсь с подступившим к горлу комком.

На проводившихся у обелиска митинги в День Победы, в годовщины освобождения от оккупантов Минска, сборы бывших невольников гетто по случаю мрачных дат из летописи трехгодичного существования этого обиталища смерти мы всегда приходили прежде вместе. И к ней, моей жене Анне Красноперко, бросались десятки знакомых, полузнакомых, совсем незнакомых. Сама пережившая в юности геттовский ад, написавшая о пережитом пронзительную книгу "Письма моей памяти", что принесла ей широкую известность, контактная, обаятельная, по-женски привлекательная, она, как правило, вообще оказывалась в центре внимания общества, в котором появлялась, а уж тем более в среде собиравшихся здесь.

Ясное дело, будь она и в этот раз со мной, то стала бы одной из первоочередно причастных к происходящему. Спустился бы в группке немногих, кому повезло, была некогда вырваться из смертных когтей гетто, на свободную в тот высокий час от другого люда площадку между обелиском и вставшими у ступеней спуска бронзовыми изваяниями (собиравшееся многолюдье окружило пространство мемориала сверху). Наверняка, как здесь часто случалось ранее, кто-либо из телеоператоров попросил бы ее сказать слово перед видеокамерой. В царившей атмосфере разволновалась бы, у нее подскок

бы подводившее в последние годы кровавое давление. Но было бы это хорошее, возмывающее чувства волнение.

Придя же без нее, я ощутил неприкаянность. И хоть, увидев меня, Михаил Трейстер, глава ассоциации бывших узников гетто, и Михаил Бушгейн, председатель объединения евреев участников Отечественной войны, сказали, чтобы я присоединился к спускавшимся на площадку во впадине мемориала ты, мол, в глазах всех наших уже и сам как из геттовского братства, - я отмахнулся. Не было в моей жизни кошмара гетто, не было по возрасту участия в мемориальной, прима-зваться не буду.

В не лучшим настроении натолкнулся в людском столпотворении на Павла Якубовича, главного редактора "Советской Белоруссии". Знакомы мы давно. Помню его молодым сотрудником ведомственной газеты МВД. Помню ликим фельетонистом "Знамени юности". Помню держащим пером "Народной газеты" - не иначе по характеру, а той, какой приходила к читателю в первые годы существования. Теперь, шефом главного офиса страны, имену в основном по телевидению.

От дня кончины Ани минуло, повторю, десять недель. В течение этого времени мы не встречались, и Якубович выразил мне соболезнование. Сказал:

- Напишите нам об Анне Давыдовне.

Я ответил, что, по-видимому, не ко мне с этим надо обращаться. Удобно ли мужу писать в печати о жене?

- Почему? - пожал Якубович плечами. - Не вижу для вас неудобного.

Я все-таки воздержался от согласия. Хоть в памяти и всплыли прецеденты, говорившие, что мог бы принять предложение.

И вот от недавней убежденности отступаясь. Отырвав в последнем месяце 2000-го года очередной листок календаря, увидел число 6 декабря. И защемило сердце. Была бы она жива, отметили бы в этот день пятидесятилетие жизни вместе. 6-го декабря полувеком ранее она приехала в Минск из Барановичей, где после окончания университета работала в редакции областной газеты (Барановичи были тогда областным центром), и мы в ЗАГСе на Интернациональной улице зарегистрировали брак.

Жизнь прожить - не поле перейти. В прометевшие без семи месяцев пятьдесят лет не обходилось без того, чтобы не возника-



Анна Красноперко.

ли между нами легкие претензии друг к другу. Но по знаменитой строке Есенина, на расстоянии видится большое. В остальном все дальше прошло мелкое в памяти размывается, исчезает. Видится большое: дарование мне долгое счастье совместной дороги по жизни с достойнейшим человеком, о котором рещил обязательно написать.

2.

К пятидесятилетней этой дороге нужно добавить предва- ршнее же пять лет нашей неразывной дружбы до того, как по- женились.

Началось все в 1946-м. Аня училась во втором курсе отде- ления журналистики БГУ, я был первокурсником и одновременно работал в редакции газеты "Литература и мастацтва". Был в не- посредственном подчинении у заведующего отделом информации Григория Смоляра — личности (тогда я этого не знал) удиви- тельной судьбы, в частности, организатора действовавшего в Мин- ском гетто антифашистского подполья. И Смоляр как-то дал мне задание пероговорить в университете с такой студенткой Ли- ной Красноперко. Она, сказала, активистка родившегося при ЦК комсомола объединения начинающих литераторов, избрана в бюро объединения, так надо поинтересоваться, функционирует ли оно, работает ли. Или, как чаще бывает, продекларировало свое появле- ние и на том существование прекратило. По не очень распро- страненному тогда еще определению, я должен был взять у этой Крас- ноперко интервью. Мог ли я предвидеть, что интервьюировать друг друга нам с ней предстоит в последующем каждодневно на протяжении пятидесяти пяти лет!

И еще. Смоляр писал тогда через какое-то время изданную книгу "Мстители гетто" — первое повествование о трагедии и героике созданного гитлеровцами в Минске лагеря уничтоже- ния евреев. Девушке же, к которой он меня направил, предначер- тано было вырасти в талантливую журналистку и в пору, когда "Мстители гетто" будут у нас запрещены, написать "Письма моей памяти" — после долгого замалчивания этой темы вторую по омерзности из появившихся в Советском Союзе книгу о Холокосте в Минске. Как бы подхватить из рук автора "Мсти- телей гетто" астафету. Очерченному, оклеветанному у нас, жи- вшему в Израэле Смоляру, нам рассказывали, "Письма" попали, и он по доброму о книге отказался.

Но раньше книги о гетто у Ани вышел небольшой сборник партизанских рассказов. Гетто и партизанство были главами ее жизни, к которым обращалась памятью с одинаковым трепетом. Всякий раз 9 мая и 3 июля — в праздник Победы и в праздник освобождения Минска от оккупантов, — когда надо было решиться, куда идти — на площадь Победы, где по таким дням традицион- но встречалось бывшее партизанское побратимство, или к обели- ску в "Яме", где собирались породненные пережитым в гетто, — у нее начинались сердечные метания. Как можно не постоять в общей скорби с теми, с кем объединяла воспоминаниями о гет- товской пренспидей. Однако как можно в часы святого торже- ства не повидаться с людьми, вернувшими ее после пренспидей к свету.

Немало послевоенных лет — и до того, как мы поженились, и когда были уже семей — в Аниной маме и к ней любил забре- сть в гости Владимир Адаревич Тихомиров, Герой Советского Союза, бывший командир партизанской бригады, которая приня- ла их, убежавших в морозные дни самого конца срока второго из гетто, и поставила в боевой строй. Потом они узнали: Тихомиров просматывал, что по лесу бродят беглянки-еврейки — женщина-врач с двумя дочерьми. Врач бригаде был нужен, и комбриг послал разведку разыскать бродящих.

Старшая Красноперко, Рахиль Ароновна, организовала в бри- гаде медпункт. Невропатолог по узкой специальности, она в лес- ных землянках и оперировала как хирург (не имея ни инструмен- тария, ни анестезирующих средств, ни битов), и боролась как эпи- демиолог с распространением тифа, и становилась при надобнос- ти терапевтом, педиатром, кем требовалось. Семнадцатилетняя же Аня, дитя интеллигентных родителей, учившаяся девочкой наряду

с общеобразовательной еще и в музыкальной школе, мечтательни- ца книжница, стала в маминном лазарете санитаркой, не боющейся никакой тяжелой работы по уходу за ранеными и больными. За- вела дневник боевых действий бригады. На популярнейшую в предвоенные годы мелодию "Казовки" Дунавского сочинила текст бригадной песни. К двадцатидвухлетнему тогда Тихомирову воспе- лала романтическим девчоночьим чувством. От всех, разумеет- ся, скрываемым. Чертами рыцаря без страха и упрека надевала в полном благодушии воображение партизанское воиство. И зрелой уже женщиной, матерью двух сыновей, гасетчиком с доб- рым профессиональным именем (возвратившись в 1951-м из Бар- ановичей в Минск, начала работать в редакции детской газеты "Півнер Беларусі" и проработала там тридцать лет) обучивалова в журнале "Малалодцы" и других изданиях серию сложивших партизанскую книгу новеллок, навеянных памятным на партизанских бы- лях. Сохраняла в них свежей когдатошнюю свою романтичность восприятия новой своей гетто яви. Яви суровой, опасной, но какой же в сравнении с оставшимися позади замечательной.

В апреле 1993 года в составе группы, делегированной Со-юзом еврейских общественных организаций и общин Белорусси, мы побывали вдвоем в Варшаве в дни, когда мир отмечал пятидесятилетие годовщины героического восстания Варшавского гетто. Написал потом большое эссе "Варшаво вскользнутое". Оно было напечатано в журнале "Польска", и откликном на него при- шло мне доброе письмо из Гомеля от Григория Алювиона Кап- лана, во время войны редактора газеты полесских партизан. Деялся размышлениями, вызванными прочтанным эссе, он также вспо- минал эпизоды из своей военной давности. Поскольку в эссе встре- тила несколько слов об Ане, рассказал, что 17 мая 1944 года уле- тал самолетом, прибывшим к партизанам, на Большую землю. При посадке в самолет билет зачитал для сверки список отпра- влявшихся с ним в обратный рейс. Среди других назвал фами- лию Красноперко. Отозвалась девушка. Достаточно редкая фами- лия Каплану запомнилась, и он спросил в письме, не та ли самая девушка стала моей женой.

Да, то была Аня. Она сопровождала раненых из тихомиров- ской бригады, переправляемых для госпитального лечения за ли- нию фронта. Конечно, ей хватало с сопровождаемыми забот. Но предстояло прилететь в Москву. И советские войска уже гнали фашистов из Белоруссии. И только что на глаза попался гитле- ровец, плененный партизанами, совсем не бравый был у него вид, не такой, с каким его одиозности завывались в Минске в гетто. И по-весеннему пьянице пахла сосны вокруг расчищенной в лесном массиве посадочной площадки для самолетов. И ей шел девятнадцатый год. Как было не чувствовать себя счастливой!

Среди писем, получаемых мною, когда ее не стало, было пись- мо из Израэля от Давида Таубкина, мальчиком спрятанного в Минске благотворными людьми в негеттовском детском доме. С измененным, естественно, именем и фальшивой метрикой. В том письме есть строки: "Я помню Аню девушкой в 44-м году, в пионерском лагере на ст. Каховская под Москвой, куда меня поместили после освобождения Минска. Сколько ей пришлось пережить, перестрадать, а помимо ее зазорной, веселой вожакой, которую все любили".

И про горестное совпадение. В лесном лазарете Ане долго довелось ухаживать за Костей Сушкевичем, тяжело искалечен- ным юношей-подвырником. Когда он кодовал в расположении бригады над найденным снарядом, извлекаем взрывчатку для гото- вившейся диверсии, снаряд загорелся. Кость амлился глаз. Вдо- бавок вскоре началась гангрена. Спасая его от сепсиса и, значит, смерти, Рахиль Ароновна столкой пилой, прожигавшей в са- момне, ампутировала ему раздробленную кисть руки. Аня не отходила от него днями и ночами. С Костей, с годами ставшим Константином Антоновичем, остались они навегда друзьями. Так в день, когда она скончалась, на верстающихся региональные белорусские страницы московской газеты "Труд" ставился очерк о мужестве и достоинстве, сохранившихся этим человеком в дра- матической судьбе. В очерке упоминалась и смотрящая за ним лежавшим, понимающая, каких усилий стоит ему не стоять, не

маловаты, Аня. Узнав скорбную весть, журналисты "Труда" подверстали к очерку проникновенное сообщение, что бывшей санитарки Анечки, журналистки и писательницы Анны Давыдовны Красноперко, накануне не стало.

3.

Еще одно совпадение: Аня скончалась в День Холокоста. В отмечаемый во всем мире день памяти жертв невиданного в истории человечества геноцида. Будто выдала это число, 2 мая, чтобы кончиной присоединиться к миллионам поминаемых К миллионам, выпавшее котормы, по счастью, полуюком ранее не разделяла. Кому скромном, но достойным памятником стала и ее книга "Письма моей памяти".

Была она написана по-белорусски, издана в Минске в 1984 году. Через четыре года в сокращенном виде появилась в переводе на идиш (перевел Григорий Реев) в журнале "Советиш геймланд". А еще через год напечатана была на русском языке (перевела Галина Куренева) в московском журнале "Дружба народов", выходившем тогда более чем миллионным тиражом. Прославленный белорусский писатель Василь Быков в предисловии к публикации отметил: "Пусть читатель не ищет здесь красот литературного стиля или эффектных описаний борьбы, это скорее сцепление разрозненных фактов и сцен, калейдоскоп человеческих лиц и поступков, от которых тем не менее, тривиально выражаясь, стывает кровь в жилах... Листая эти страницы, как бы опускаешься в призрачный, непостижимый мир адского существования в условиях непреодолимого голода, произвола властей, полицейских издевательств, частых кровавых расправ — по воду и без всякого повода..."

Теперь, когда еврейская тема для печати свободна, равноправна со всякой другой (впрочем, антисемитская тоже), кому-то из читающих то, что вспоминаю, я должен объяснить причину тогдашней сенсационности появления Аниной книги. Старшее поколение знает: с послевоенного времени по годы горбачевской перестройки она оставалась, эта тема, не то чтобы запрещенной, но очень уж нежелательной для власти, вызывающей острую настороженность. От близкой к погромам атмосферы антисемитских страстей периода последних лет жизни Сталина страна, безусловно, отошла. Но особое (не в лучшем смысле слова) отношение государства к евреям продолжало, как говорится, иметь место. И как следствие, отношение к писавшемуся о евреях вообще, о Холокосте, о том, что он собой представлял на оккупированных гитлеровской Германией территориях СССР, в частности.

Если в сталинские времена не разрешена была к выпуску собранием Иллей Эренбургом и Василием Гроссманом, набранная уже в типографии "Черная книга" - собрание свидетельств о содеянном гитлеровцами с евреями в захваченных советских местностях, то и во времена хрущевские и брежневские подобно-го куда как хватало. У того же Эренбурга из-за эпизодов с "акцентом на еврейском вопросе" (так это формулировалось в бумагах партийного олимпа) раз за разом возникали сложности при публикации мемуаров "Люди, годы, жизнь". Тот же Гроссман не смог при жизни опубликовать свой пронзительный очерк об Армении "Добро вам!", так как цензура требовала изъятия из текста возникающих по ходу повествования рассуждений о сложности перенесенного на путях истории армянами и перенесенного евреями. А что до "Бабьего Яра" Евгения Евтушенко, то вскипавшая вокруг этого замечательного декларативного стихотворения буря была не литературной дискуссией - была схваткой человеческой высоты и чистоты с поддерживаемым государством остервенелым чернотенством.

Трезво сознавая положение, я считал маловероятным, что опорно пишущаяся Аней с конца семидесятых вещь (она, работая, не знала, как обозначит ее жанрово - определение "непридуманная повесть" было найдено нами вместе позднее) имеет перспективу увидеть свет. Последнюю точку в рукописи она поставила осенью, еще точно не помню, то ли 80-го, то ли даже 79-го в Трусковце, куда мы приехали лечиться. Прочитав горя-

чую" еще рукописи, я так ей и сказал, что вряд ли написанное будет напечатано. Но что такая рукопись родилась, благодарение богу. В доме будет храниться для внуков-правнуков бабушкин-прабабушкин рассказ о том, что должны обязательно знать и они, потомки.

Пессимистом относительно перспективы превращения этой рукописи в книгу был не только я. Буквально наизусть после того, как в Минске Аня отнесла ее в издательство "Мастацкая літаратура", нам позвонил редактор издательства, давний наш приятель, талантливый литератор и хороший человек, ко всему еврей. Телефонную трубку снял я, и между нами состоялся такой примерно разговор.

Она: - Молода, я всю ночь не спал. За вчерашний вечер проглотила Анину рукопись. Какая она молодчина, Аня! Читала, думаю, сердце разорвется. Но ведь ты прекрасно понимаешь, издано это быть не может.



Анна Красноперко. Фото 1944 г.

Я (действительно великолепно его понимая, но притворяясь наивным): - Почему? Какие идеологические претензии могут быть к книге предьявлены? Она патриотична. Страшно видится глазами юной девушки с пионерским воспитанием, вчерашней красногалстучной советской школьницы.

Она: - Да что ты говоришь, ей - богу! У меня в повести два небольших абзаца было: описание расправы полицей с местечковыми евреями. Так сказали мне, что я за эмиграцию в Израиль агитрую. Беспрекословно заставили вычеркнуть.

Я: - Тем не менее, пусть все идет, как положено. Зарегистрируйте поступление рукописи, отдайте на внутреннюю рецензию. Словом, не хороните заведомо, на корню.

Это было обещано.

Однако месяц пошел за месяцем, изрядно за год, по-моему, перевалило, а рукописи недвижно лежала в издательстве в столе. В нарушение существовавшего порядка. Ставить вопрос о какой-нибудь работе с нею представлялось приятелю-редактору делом

безнадежным, и он, похоже было, не решился запустить рукопись в предвзято выходящий или невходящий издательскую круговорот. Сказать о том Ане стеснялся тоже, и она изводилась в терпеливом, но стойшем, конечно, нервов ожидании да? нет?

Не торопясь с ясным ответом - берут к печати, не берут? - и редакция журнала "Маалодсьц", куда также был занесен экземпляр рукописи. Следуя установленному тогда указанию верхов литературным изданием - представлять принимаемые документальные и мемуарные произведения тематики прошедшей войны на предварительную цензуру в институт истории партии, - да и попросту перестраховываясь, редакция отдала рукопись туда. Из института поступила положительная рецензия, замечания были мелкие, касались отдельных формулировок. И все-таки смельчак, принципиальный главный редактор "Маалодсьц" Анатолий Гречанинов так и не отважился "Письма моей памяти" напечатать, хоть потом, когда книга вызвала широкий резонанс, не раз говорил Ане и мне, что сожалеет об этом.

Всякая неопределенность когда-нибудь заканчивается, изменением и ситуация в издательстве. После того, как Аня не выдержала, настойчиво попросила не играть с ней в кошки-мышки, а дать, как полагается, ответ с изложением претензий к произведению, - издательство передало наконец рукопись на требуемое заключительное рецензенту. Разумеется, блудя издательскую тайну - не назвав Ане имени того, от чьего мнения зависело, пусть на первом этапе, быть ей ее творению изданным. И через какое-то время нам опять позвонил редактор-пессимист, наш приятель. Только радости и несколько растерянный.

- Аня, сколько лет здесь работаю, а не помню такой рецензии.

Рецензентом, получившим на отзыв залежавшуюся в издательстве рукопись, оказался прозаик и критик Евгений Лещо. Считавшийся литератором с обостренным белорусским нацио-

нальным чувством, на языке недоброжелателей белорусским националистом, он охарактеризовал прочитанное как потрясающий художественный документ о голоде мирского еврейства. Не помню всего на страницах рецензии сказанного, - Аней она читалась-перечитывалась, - но резюме было четкое: книгу следует издать обязательно, издательство совершит преступление, если откажется.

По решению, ставшему позднее распространяемым, процесс пошел: включение в планы, редактирование, внесение исправлений по списку замечаний издательского главка, - рукопись на стадии редактирования запрашивалась и туда, тема заявленной в планах книги продолжала пугать чиновников руководящих инстанций. И наступил в конце концов день, когда одетые в черную обложку с выразительным фотозображением "Письма моей памяти" поступили в продажу. И смелые в магазинах с полок в два-три дня, сделали автора, не боюсь этого слова, знаменитой в Минске, в Белоруссии.

Правда, амплитуда оттенков у подвизавшегося вокруг книги акюнтажа была широкой - от доброго до злобного чувства к автору. Никогда я Ане о том не рассказывала, не хотел расстраивать, но как-то в те дни дошло до меня, что муссируется некоторыми мерзавцами по поводу книги слухов, скажем так, определенного свойства. Ехал я куда-то в поезде и встретил знакомого фотокорреспондента. Совершенно серьезно он спросил меня, правда ли, что за выпуск "Писем мой памяти" издательству уполучена некоей американской сионистской организацией солидная сумма. Такое слышал, мол, от друзей в Доме печати.

"О времена, о нравы!" - воскликнула некогда в древнем Риме Цицерон. Вспору было воскликнуть то же про время, в которое происходил разговор.

4.

На весть о ее кончине с печалью откликнулось немало газет. В Минске, в Германии, в США. И в одном из некрологов наткнулся я на ранее не встречавшееся относительно нее определение: общественный деятель. Что поначалу чуть озадачило. Такое определение привычно в отношении персон, нечто возглавляющих, постоянно, как модно теперь говорить, "тусующихся" на презентациях-демонстрациях, выступающих с политическими заявлениями. А здесь это было сказано про не занимавшую никаких постов, далекую от политических игр, по-домохозяйски внимательно следившую за развитием действия в мыльных телесериалах женщину, про мою жену, тревожившуюся при простуде взрослого сына, при не лучших школьных отметках внука, при долгом отсутствии звонка от кого-либо из подруг.

Но поразмыслив есть основания для этого определения, и немалые. Говоря, в частности, о дружеских контактах, установившихся у Ани с рядом демократических организаций Германии, другая газета справедливо отметила, что "по наведению мостов между немецким и белорусским народами" она "на общественных началах сделала столько, сколько сделала какой-нибудь хорошо финансируемый фонд".

Начались эти контакты, эта дружба после опубликования "Писем моей памяти" в журнале и называемом "Дружба народов". Более чем миллионный тогдашний тираж, русский язык - конечно, число прочитавших повесть многократно умножилось. Редакция пересылала Ане пачки поступающих читательских откликов. Неисповедимым путем узнавая наш домашний адрес, иные читатели писали автору прямо. Ну и, как говорится, в один прекрасный день к нам пришли трое туристов из Германии - знающий русский язык, тогда еще дипломник Кельнского университета Уве Гартеншлегер, учительница гимназии из города Тройсдорфа Райнхильда Фишбах и служащий земельного управления евангелической церкви из Дортмунда Альф Зайпель. Кто-то в Москве порекомендовал им познакомиться с напечатанным в "Дружбе народов" повествованием о страстотерпии Минского гетто. Познакомились, и вот пришли к автору (естественно, тронутому, но и растерявшемуся) за разрешением перевести на немецкий и издать произведение в Германии.

Аня Красноперко - студентка. Фото 1948 г.



Издательская система в Советском Союзе была многоэтапной, длительной, изматывающей автора. Не знаящие другой, мы поражены были быстротой, с какой книга вышла по-немецки. Буквально через считанные месяцы после разговора об этом в Минске нас вдвоем пригласили в Германию в связи с ее выходом. Уве книгу перевел, Райнхальд написала предисловие, Альф взял на себя заботы по изданию. Все трое навсегда стали нашими друзьями.

Та первая поездка в Германию, состоявшаяся в мае 1991 года, положила начало дальнейшим - ежегодным, а то и по два раза в год. По приглашению общественных организаций, региональных советов евангелической церкви, берлинского Свободного университета - всех приглашающих уже и не назову. С участием в проводившихся антинацистских акциях. С насущными программами встреч в библиотеках, студенческих аудиториях, церковных общинах, гимназиях. С выступлениями на симпозиумах, семинарах, пресс-конференциях.

Нам довелось побывать в Берлине, Бонне, Кельне, Дортмунде, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Бремене, Ганновере, Нинбурге, Мюнстере, Тройсдорфе, Ахене, Дюссельдорфе, на острове Балтум, в городках и деревнях, названий которых не помню. Анна Красноперко приобрела в Германии известность. «Письма моей памяти» были переизданы здесь во второй, третий, четвертый раз. Стало правилом, что группами и в одиночку приезжающие в Минск немцы через координаторов их пребывания в Белоруссии или лично договариваются о встрече с ней, о ее выступлении перед ними, часто о возможности побывать у нас дома. То это были студенты - будущие политологи, практикующиеся в белорусских архивах. То активисты движения помощи Белоруссии в черныбыльской беде. То «альтернативники» - юноши, которые предпочли службе в армии альтернативную трудовую миссию: работу по уходу за тяжело больными в минских больницах. То старики - бывшие солдаты вермахта, надувавшие через годы и годы увидеть места, из которых некогда молодыми запросто могли не вернуться домой. Сколько таких встреч и бесед состоялось! Сносно им, неважно ли было со здоровьем, отказываться от них она себе не позволяла. Считала долгом перед памятью замученных в гетто рассказывать о страшном, что знала не понаслышке.

После ее смерти я получила из Германии много писем с выражением соболезнования. Писатель Пауль Коль написал мне: «Я был очень опечален, узнав от господина Шлоцца, что ваша жена умерла. Слово «умерла» по отношению к ней не применимо. Для меня Анна Красноперко - живое воспоминание».

Я хорошо помню, как в 1988, 1989, 1990 и 1991 годах водила туристские группы по Минску, и Анна неизбежно описывала нам, что собой представляло Минское гетто и что выпало пережить самой. Я зримо вспоминаю еще, как Анна выступала здесь, в Берлине, - рассказывала переполненному залу то, чего никто не знал. И еще, как в другой раз горячо возражала тем из публики, кто был не согласен с поведенным в прочитанной мной главе из писавшегося романа «Добрый привет из Минска».

За то, что начал писать этот роман, я благодарен также и Анне. Насколько зримо после ее рассказов выдилось гетто, что я услышанное записывал. И выстраивалась глава за главой о немецкой оккупации Минска и о лагере уничтожения Малый Тростенец...

Конечно же, и она была благодарна судьбе за обретение множества друзей в Германии. За появление посвященного ей сценда в берлинском музее Карлхорст, рассказывающем о пройденном гитлеровским рейхом пути от притязания на мировое господство до тяжелейшей катастрофы. За вершинные в жизни часы - так она назвала эту процедуру перед уважаемыми людьми города, перед журналистскими телекамерами и диктофонами, когда в Мюнстере была удостоена чести поставить свою подпись в книге для почетных гостей этого города, Золотой книге, в которой до нее, еще как представители Советского Союза, расписались Михаил Горбачов и Эдуард Шеварднадзе. За наше путешествие по Израюлю в составе группы, сформированной социал-демократической партией Германии. За четыре дня в Париже, подаренные нам берлинским

Свободным университетом. Могут назвать еще и еще проявляющиеся со стороны обретенных друзей-немцев знаки сердечного к ней отношения.

А уже когда оставалось ей жить несколько недель, я пришел к ней в больницу с письмом от ставшего мне очень близким человеком профессора Иоханнеса Шлоцца, берлинского политолога. От имени созданной им Рабочей группы белорусско-немецких встреч он сообщил о намерении группы учредить для молодых историков и политологов, занимающихся тематикой второй мировой войны, премию имени Анны Красноперко. Прогнал дать на это согласие.

Аня разволновалась, заплакала, несколько раз произнесла: - Это венец жизни!

5.

Она смотрит на меня с фотографий на стенах, на стеллажах, под стеклом письменного стола. В ящиках стола, в книжных шкафах, так, как они разложены были ею, лежат разноязычные журналы, другие издания с фрагментами из «Писем моей памяти», рассказами и газетными очерками, написанными ею, с публикациями о ней. Стоит, как и стояла, пианино - она любила присесть у него, поиграть. Словом, все в квартире, как было при ней.

Но нет - все иначе! Пусто, неутоно, холодно мне в моем жилище!

Однажды вспомнилось: мальчишкой до войны читал принесенную родителями книжечку с поэмой и стихами Семена Кирсанова, написанными поэтом в потрясении после смерти жены. Очень они, как теперь понимаю, были тогда «последними» читателей. В библиотеке поднял том Кирсанова, нашел то давнее - насколько же оно и про меня!

Я всю ночь
писал письмо,
все
сказал
в письме.
Не писать его
не смог,
а послать — не смел.
Я писал письмо
всю ночь,
в строки всматривался,
только
нет на свете
почт
для такого адреса.
Если б я
письмо послал —
что слова на ветер.
Той,
которой
я писал,
нет на свете.



Анна Красноперко, Владимир Мехов и их внук Костя. Фото 1993 г.